

Содержание

Совпадения	5
Доска почета	14
Голубой крокус	22
Судьба	31
На празднике	40
Шкаф	42
Среда	52
Виртуальная скорбь	58
Алгоритмы	65
Чередование	71
Значимый взрослый	73
Предел	80
Архив	84
Вторая степень	95
На чердаке	96
Чемодан	103
Тирамису	105
Квартира	115
Моря	125
Ритм	130
Отцы и дети	131
Классные комнаты	137
Разрезанный снимок	139
Тело	145
Огонь юности	154

Деревенский словарь	158
Языки.	166
Сослагательное наклонение.	170
Календарь.	174
Прошлые жизни	178
Сельские кладбища.	187
Шанс	194
Год	195
Голос	197
Самая маленькая частица	199
По кругу.	201
Счет	203
Депрессия.	204
Некоторые заметки об участии	212
Открытка ученицы	219
Из записной книжки 2020 года.	223
Товары и услуги	224
Поход в анатомичку	228
Дети.	233
Февраль	242
Новая жизнь.	247
Март.	250
Девочка	253
Кофе по рецепту Мирославы Михайловны	258
Ветеринарка	259
Другие тела	265
Апрель и май	267
Body Farm.	270
Все впереди	272
Ноябрь	278
Парная терапия	279
Контур	284
Медленная работа жизни	285
Благодарности	290
Оксана Васякина. <i>Послесловие</i>	292

Сообщение отправили маминой подруге, потом переслали матери, и так оно наконец дошло до меня. Похороны будут завтра. Я испытала ужас сразу от двух вещей: от того, что ее больше нет, и от того, что я узнала об этом лишь чудом. Упорство незнакомой мне женщины, которая продумала долгую цепочку доставки сообщения, было неожиданно щедрым, необязательным, и его легко могло бы не случиться.

Название моего маршрута длинное, оно не помещается на табло. Среди статичных надписей слова «Коммунары — Гродно» бегут и бегут, и конец никогда не виден одновременно с началом. Как жизнь с ее постоянным ускользанием от композиции и связности, этот текст никогда не дается весь целиком, не позволяет схватить смысл быстро и без усилий. Второй путь, вторая платформа. Два плюс два — четыре. Она умерла четвертого. Я родилась четвертого. Она умерла четвертого декабря, а мой отец — пятого. Мозг пытается распознать паттерн и приписать ему тайное, глубокое значение. Хочется, чтобы смысл возник изнутри тупой пришибленности и недоверия, которые вызывает во мне смерть, кристаллизовался самым простым образом — взламыванием шифра, заготовленного вселенной. Но каждый раз, когда я поддавалась и начинала искать ключ, оказывалось, что никакого шифра нет,

и совпадения, так старательно накопленные, ничего мне не дают. Разве что напоминают о моем сходстве с матерью, которая многие годы рассчитывает аспекты планет в натальных картах и соединяет непонятные мне знаки, расставленные по окрестности.

У лестницы на вторую платформу — размытое пятно крови. Пятно круглое — возможно, след от удара головой. Сегодня моя собака вырыла из-под снега чей-то череп. Мрамор вокзальных ступеней похож на перемороженное жесткое мясо. Образы разъятого, поврежденного тела обступают меня, не связываясь, однако, с той смертью, из-за которой я забираюсь по обледенелой раскладной лесенке ночного поезда. Я не могу представить ее мертвое лицо, поэтому возвращаюсь к тайнописи вселенских знаков. Простые числовые совпадения исчерпаны, и мысль собирает то, что связано с ее именем. Начало Троянской войны. Пенсионерка-отравительница из русского фильма. Древняя Греция. Обряды, сопровождающие выращивание льна. Река в Сибири. Стандартная картинка для проверки алгоритмов обработки изображений. Я вспоминаю и ищу. Открываю трактат Павла Флоренского об именах, читаю его уверенные поэтические обобщения, торжественность слога убаюкивает мое беспокойное собирательство. Мне нравится, что текст замкнут на самом себе, не стремится что-либо обосновывать и доказывать — он построен так, будто реальный мир абсолютно равен частному впечатлению о нем. Сейчас это похоже на правду: читая о Луне, я вижу ее сквозь толстое стекло поезда.

В соседнем купе шумно. Женщины включают видео на своих телефонах, спрашивают, где стаканы, иногда матерятся. Они приезжали на концерт Анны Асти, которая сейчас очень популярна, и теперь возвращаются домой. Мне не мешает шум. Засыпаю, закрыв

лицо пуховиком — от того, что среди казенного белья есть своя вещь, спокойнее. Утром выхожу в морозный гродненский воздух, поднимаюсь в пустую квартиру и ложусь на сложенный узкий диван. Можно поспать еще два часа.

В эту квартиру мы переехали, когда мне было четырнадцать. Здесь я слушала унылую подростковую музыку, сюда вызывала милицию, здесь толкала пьяного отчима, орала на мать, стучала в соседские двери, прося помощи. Здесь я делала уроки и готовилась к олимпиадам. Отсюда я звонила ей. Спрашивала, в котором часу можно будет зайти показать задания. Коротко отвечала на ее вопросы. Эта квартира была местом взросления, и, возвращаясь сюда, я вспоминаю, почему я такая, какая есть. Наши с Еленой отношения также переживали переход из одного времени в другое, смену статусов и конвенций, поэтому они не просто еще один предмет моей памяти, но ее конструктивный признак, природное условие, включенное в систему всех расчетов. Мы никогда не обсуждали то, что происходит у меня дома, однако она стала моим спасением от этого — и от многого другого.

В цветочном прошу десять роз персикового цвета — я уже приносила ей такие. Продавщица говорит, что так много не будет. Беру белые. Продавщица вынимает их из напольной пластиковой вазы и, уложив на вытянутых руках, показывает размер букета. Прошу добавить еще четыре. В самый раз — интересно, что это означает в отношении неживого? Я несу эти розы не для того, чтобы порадовать дорогого мне человека. Никто не будет держать их в прохладной воде с таблеткой аспирина, никто не подрежет загнивающие концы стеблей. Я не хочу впечатлить других пришедших. Тогда чего я хочу, что пытаюсь выразить этими цветами?

Иду к церкви святой Марфы. На крыльце стоят мужчина и две женщины. Заглядываю им в глаза, показывая, что я это я. Они не подходят и, кажется, не замечают моих настойчивых взглядов. Топчусь на улице, потом вхожу внутрь. Церковь полна. Идет служба, но гроба нигде не видно. Соображаю медленно, поэтому не двигаюсь с места: может, его принесут позже? Мимо проскальзывает улыбающаяся женщина, наклоняется к моим цветам и радостно их хвалит. Наконец я понимаю, что пришла не туда. Выхожу на улицу и звоню. Оказывается, нужно не в саму церковь, а в маленькую капличку по соседству.

В капличке тесно. Я с рюкзаком: после похорон нужно вернуться в Минск, поэтому все вещи должны быть при мне. Я ношу рюкзаки только в поездках и не люблю их, но сейчас этот предмет вызывает особенно острое чувство неловкости: кажется, что я снова школьница, но вместо ее кабинета почему-то гроб и мрамор, вместо нее самой — круглое расплывшееся лицо и костюм странного бледно-зеленого цвета, который она никогда не носила при жизни. Скорее всего, наряд выбран из ассортимента похоронного дома. Белый платок с мелкими розовыми цветами просвечивает — плетение нити слишком редкое. Кажется, что ее голова повязана больничной марлей.

Начинаю различать лица. Почти все здесь — мои учителя. Снова со стыдом думаю про плотно набитый рюкзак, представляю со стороны всю свою неловкую зимнюю фигуру, укутанную в пуховик. Я кажусь себе маленькой, собранной из случайных и жалких деталей. Анна Андреевна, моя бывшая классная, стоит напротив, в изножье гроба. Она избегает моего взгляда умело и спокойно. Расфокусировав зеленые глаза, она заглядывается в нечто за моим плечом, скользит по

лицам вокруг, не касаясь меня ни на секунду. Вторая классная тоже на меня не смотрит.

Среди венков, прислоненных к стене каплички, есть один, на чьей ленте значится «от учителей-ветеранов школы №15». В последние семь или восемь лет Елена и многие другие мои учителя работали в новой школе — необъятном здании на окраине города, куда они ушли вслед за директором. Там они продолжали держаться вместе — сотрудницы фантомного учреждения образования, сплавленного из воспоминаний, ностальгии и усталости от настоящего положения вещей. Обе классные, которые сейчас меня избегают, тоже ушли в эту школу. Там Анна Андреевна стала завучем, и Елена, занимавшая должность до этого, оказалась у нее в подчинении. Я пытаюсь представить ее в общем пространстве учительской, в неразберихе непостоянного сонма коллег, среди длинных коридоров и бесконечных лестниц, окруженную диким морем детей, но ничего не выходит. Я вижу ее в нашей маленькой школе, построенной после войны, с одним одиннадцатым классом в параллели. Она идет медленно, и все видят ее издалека. Дети расступаются со страхом или нагловатым, вынужденным почтением. Учителя инстинктивно расправляют плечи и тянутся вверх — то ли по струнке, то ли пытаюсь совладать с ее ростом. Чуть наклонившись, она отпирает толстую дверь своего кабинета и протискивается внутрь, задевая откос бумагами. С шелестом, словно большая змея, она исчезает в своем логове. Административную работу она сделала частью пейзажа: принтер, стеллаж с цветными скоросшивателями, стопки тетрадей и методичек, горы распечаток и вырванных откуда-то листков наползают друг на друга, как зеленые ярусы леса; рука горным перешейком ложится невдалеке, тело горбится над столом во время монотонной проверки учебных заданий, покачивается голова-крона. Над всем

этим возвышается белый валун старенького компьютера. Записная книжка в темной обложке раскрыта на странице с ключом к последнему тесту.

Мужчины в черном, невнятно проговаривая что-то, теснят нас к выходу. Я не знаю, что будет дальше, но покорно выхожу вместе с толпой. На улице мы расходимся, словно беря реванш за недавнюю вынужденную близость. Мы разделены холодным воздухом и снегом. От наших лиц поднимается пар — зимой дыхание и речь становятся видимыми. Я думаю, что это может значить в оценке жизни и смерти. Дальше ли мертвые от живых в это время года? Или, напротив, облака пара из наших ртов куда лучше соответствуют качествам загробной жизни? Чтобы оценить расстояние между нами, нужно больше знать о месте, в котором оказалась Елена. Существует ли оно вообще?

Все ждут. Мы обступили капличку полукругом, как на плохо организованной линейке. Наш строй разбавлен проплешинами, и на асфальте нет белой линии, старательно выведенной обэжэшником, чтобы носкам нашей обуви было куда упираться, пока первоклашки читают стихи, а у памятника Карбышеву сменяются караулы. Мы стоим группками: знакомые к знакомым, товарищи к товарищам. Наконец нас приглашают в церковь. Я удивлена и расстроена — Елена не верила в бога и не любила отправление номинальных, ничего не значащих для нее обрядов.

За алтарем щелкает зажигалка — долго не получается воскурить кадило. Щелк-щелк-щелк — словно будет веселый перекур. Перекур обладает лиминальной природой, он — действие-между-действиями. Похороны — тоже (человек уже не существует, его тело мертвое и пустое, но оно пока рядом, а значит, принадлежит смерти не до конца).

Из проповеди священника запомнила слово «вдохновение» — лишь оно во всей длинной речи было связано для меня с Еленой. Ни «раба божья», ни «царствие небесное», ни «мертвые восстанут» к ней, некрещеной и неверующей, отношения не имели. Я вспоминаю наш разговор о заупокойных службах. Когда умерла Еленина мать, к Елене пристала старая воцерковленная соседка. Пугая и маня надеждой, она настаивала на проведении обряда. Елена сдалась. Пересказывая проповедь и содержание песнопений, она повторяла слова о прощении и рабстве. Ее мать не была ничьей рабой и не нуждалась в прощении. Она за всю жизнь не сделала никому ничего плохого. Елена говорила это с заметным гневом. Представляю, как она, скорбная великанша, стояла тогда у гроба, и как горели ее синие глаза. Скорее всего, это происходило в той же самой церкви, в которой сейчас стою я, тоже раскрыв глаза, тоже не соглашаясь.

Потом запели.

*в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отню-
дуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание*

надгробное рыдание, творяще песнь

Это бы ей понравилось. Вспоминаю, как на первом курсе со страхом подступалась к «Илиаде» (не хотелось читать про мужскую суету и войну), но перевод Николая Гнедича был таким музыкальным и внимательным к деталям, что я, не отрываясь, переворачивала страницу за страницей. Красота позволила жизни сублимироваться — и та, как сухой паек, осталась насыщенной и питательной, ожидающей любой капли влаги, чтобы восстановить самое себя, развернуться и раскрыться. Я подумала, что Елена занималась именно этим — преподавая литературу, она учила меня

агрегатное состояние, добывать из себя вещество, необходимое для воссоздания чего-то давно исчезнувшего, держать при себе сублимированную в текст жизнь, полагаясь на литературу как на спасение.

Женщина, которая передала известие о смерти, устроила меня в чью-то машину. В старенькой низкой «ауди» пахло кофе — водитель, бывший Еленин ученик, приехал откуда-то из области, встать пришлось очень рано. Женщина на пассажирском сиденье советовала ему, куда поворачивать, — он, посмеиваясь, отвечал, что уже забыл гродненские улицы. Всем было неловко, поэтому старались побольше говорить: три человека из пяти в машине были одноклассниками, а я и еще одна девушка — выпускницы совсем другого года. Не знакомцы и не знакомые — худший состав. Я, вжавшись в дверь, молчала и смотрела на снег.

Мы въехали на «Аульс» не с той стороны, где похоронена моя семья, поэтому я не узнавала места. Пошла за всеми. Представитель похоронного бюро предложил сказать по паре слов. Его товарищи, в одинаковых черных курточках и штанах, вынимали из микроавтобуса венки и цветы. Первой речь произнесла красивая женщина в солнцезащитных очках, похожая на героиню российского криминального сериала. Вытирая слезы, текущие из-под черной оправы, она сказала, что Елена была ей как мама. Я подумала, что это, возможно, Ася — ученица, которая, по словам Елены, как-то увидела во сне ангела. Разглядывая людей, которых никогда раньше не встречала, я понимала, что знаю о них нечто важное. Некоторые из них, наверное, тоже знали что-то обо мне. Мы стояли над ее телом, объединенные ее историями, прошедшие через методическую работу, описанную в ее ежедневниках, — бывшие ученики, странные люди, чья идентичность привязана к прошлому, а потому вызывает дискомфорт. Сквозь

нас, лохматых, седых, пахнущих сигаретами, взрослыми дорогими парфюмами и крепким кисловатым кофе, проглядывали дети, и всем нам было неловко, но поделать с этим ничего было нельзя.

На кладбище гроб снова — уже в последний раз — открывают. Несколько человек произносят небольшие речи. Друг за другом подходят, касаются ее руки, плеча, щеки, лба, наклоняются для объятия. Я пытаюсь обойти стоящих впереди, но не могу найти дорогу. Поток идущих иссякает. Распорядитель похорон спрашивает, кто еще хотел бы попрощаться, могильщики, не дожидаясь ответа, берутся за крышку. С нелепым рюкзаком я проталкиваюсь к гробу (так школьник в последний момент щемится к выходу из автобуса), наклоняюсь, прижимаюсь к ее груди и плечам в попытке воссоздать живое объятие, но оно невозстановимо.

Гроб опускают с трудом. Елена заказала надгробную композицию еще при жизни, поэтому земля покрыта бетоном, мрамором и плиткой. Высокая-высокая, Елена не помещается в приготовленный проем, приходится разбивать бетон по краям. Зарыв яму, могильщики проворно размещают вокруг холмика пластиковые венки. Живые цветы кладут в центр. Их совсем не видно, но я думаю, что так они защищены от снега и ветра. Не знаю, почему это важно.